

Глава 1

Весной 1498 года, в мартовский день, даривший ломбардскую равнину ливнями, а не то и шквальным ветром да запоздалым снегопадом, настоятель доминиканского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие отправился в миланский замок засвидетельствовать герцогу Лудовико Мариа Сфорца, по прозвищу Мавр*, свое почтение и заручиться его поддержкой в деле, которое давно внушало монахам тревогу и огорчение.

Миланский герцог уже не был тем дерзким в замыслах и скорым в решениях полководцем и политиком, который не единожды уберегал свое герцогство от войны, сея раздор в сопредельных странах, направляя вражеские силы к иной цели и приумножая собственную мощь. Удача его и слава клонились к закату, а ведь, как говаривал сам герцог, одна унция удачи ценится порой много дороже, чем десять полновесных фунтов мудрости. Прошли времена, когда он

* Сфорца Лудовико (Лодовико) Мариа, прозванный Мавром (1452–1508), — миланский герцог в 1494–1499 гг.; умер во французском плену.

звал папу Александра VI своим домашним священником, французского короля фельдъегерем, который всегда готов ему услужить, Светлейшую Республику Венецию — своим тяжело нагруженным выучным ослом, а римского императора лучшим своим кондотьером. Тот французский король, Карл VIII, скончался, а его преемник Людовик XII был внуком одного из Висконти и потому притязал на Миланское герцогство. Максимилиан, император Священной Римской империи, так увяз во всевозможных распрях, что сам нуждался в поддержке. Светлейшая же показала себя беспокойной соседкой, и Мавр даже пригрозил, что, коли она вздумает примкнуть к лиге его противников, он турнет ее к рыбам, подальше в море, и не оставит для посева ни пяди твердой почвы. У него, мол, найдется пока бочонок-другой золота, по крайности на войну хватит.

Мавр принял настоятеля монастыря Санта-Мария-делле-Грацие в старинном своем замке, в Зале богов и гигантов, название которому дали фрески, украшавшие две его стены, тогда как третья стена с ее изрядно поблекшей и частью осыпавшейся росписью, если хорошенько присмотреться, еще являла взору «Видение Иезекииля» времен Висконти. Здесь герцог в утренние часы по обыкновению занимался государственным делами. Лишь изредка он делал это в одиночестве, ибо испытывал потребность в любое

время дня непременно видеть или хотя бы слышать рядом знакомых, близких людей. Одиночество, пусть даже минутное, тревожило его и угнетало, ему мнилось тогда, будто он уже всеми покинут, и от мрачного предчувствия самый просторный зал становился для него тесным тюремным казематом.

Итак, в этот день и час при герцоге находился статский советник Симоне ди Трейю; он только что закончил доклад о том, какой прием следует оказать ожидаемому при дворе Великому сенешалю Неаполитанского королевства. Присутствовал здесь и секретарь герцогской канцелярии, ведший записи. В нише у окна стояли казначей Ландриано и капитан ландскнехтов да Корте, про которого уже тогда шла молва, что всякой другой монете он предпочитает французские золотые кроны; сейчас эти двое с видом подлинных ценителей разглядывали лошадей — сицилийца и крупного варварийца, которых конюхи водили по двору, меж тем как герцогский шталмейстер торговался о цене с их владельцем, немцем-барышником, и немец знай себе отрицательно качал головой. В глубине зала, недалеко от камина, у ног изображенного на стене мерзкого великана, зверски раздувшего щеки, сидела мадонна Лукреция Кривелли, возлюбленная герцога. Компанию ей составляли придворный поэт Беллинчоли, костлявый, с унылым лицом чахоточной обезьяны, и музыкант Мильоротти, прозванный при дворе

Фенхелем. Ведь приправленные фенхелем сласти и лакомства подают лишь в конце трапезы, когда все уже сыты, — вот и герцог большей частью призывал к себе Мильоротти, когда наскучивал иными развлечениями. На слова Фенхель был скуп, а коли и случалось ему заговорить, то выходило нескладно и буднично, да и голос у него был скрипучий, поэтому он чаще помалкивал. Однако ж он умел весьма ловко и доходчиво выразить все свои мысли и суждения звуками лиры. И сейчас, когда Мавр, учтиво поздоровавшись с настоятелем, провожал его к удобному креслу, Фенхель в торжественной манере этакого церковного хора заиграл миланскую уличную песенку, которая начиналась словами:

Рыщет тать в ночи густой,
Кошелек припрячь-ка свой!

Ведь всяк при дворе знал, что настоятель не упускал случая воспользоваться герцогской щедростью и взял себе за правило любое дело предварять жалобами: мол, монастырский виноград нынешний год по причине скверной погоды куда как плох и это повергло или же повергнет его в крайне бедственное положение.

Возлюбленная герцога, оставившая свое место у огня и направлявшаяся к настоятелю, повернула голову и бросила на Фенхеля негодующий взор. Она была воспитана в набожности и, хотя уже не видела в каждом священнике или монахе

Господня представителя на земле, полагала тем не менее, что деньги, отданные церкви, истрачены с толком и можно по праву ожидать от них величайшей пользы.

Настоятель меж тем, тихонько покряхтывая, опустил в кресло. На вопрос герцога о его здравии он посетовал, что уже которую неделю страдает отсутствием аппетита, и призвал Господа в свидетели, что за два дня только и сумел проглотить кусочек хлеба да полкрылышка курапатки. Если дальше так пойдет, добавил он, можно и вконец обессилеть.

И тут выяснилось, что, сколь ни удивительно, пожаловал он на сей раз не за денежной субсидией, ибо ни словом не обмолвился о винограде, который и нынешний год, несомненно, куда как плох, а тотчас заговорил о предмете, каковой полагал виновником скверного состояния своего здоровья.

— Все Христос этот со своими апостолами, — сказал он, обмахиваясь рукою, — то бишь, коли это вообще Христос, ведь распознать пока ничегошеньки не возможно, разве что несколько ног да рук, я даже и не знаю, которому из апостолов они принадлежат. С меня хватит. Этот человек заходит слишком далеко. Месяцами он вовсе глаз не кажет, а когда наконец явится, так полдня стоит перед картиной, но кисть в руки не берет. Поверьте, он затеял эту роспись, просто чтоб вогнать меня в гроб.

Всю эту речь Фенхель сопровождал новой мелодией, теперь уже шуточной песенкой, которую миланские простолюдины распевали, когда им было невмоготу слушать плохую, длинную и нудную проповедь, и текст этой песенки гласил:

Ах, идем домой, сосед,
Слушать бредни мочи нет!

— Вы, досточтимый отче, — отозвался герцог, — пришли нынче в ту самую кузницу, где я все время между молотом и наковальней, ибо редко бывает, чтобы на дню хоть раз не обратились ко мне с такой вот или иной жалобой на этого человека, которого я, не скрою, люблю как брата и буду любить всегда. Сдается, во многих его искусствах настало затишье, и с той поры, как он — не знаю, от упрямства или от подлинной увлеченности — занялся опытами и математикой, от него даже крохотной прелестной Мадонны получить невозможно, с этим, мол, пожалуйста к Салаи, к его ученику, который до прошлого года краски растирал.

— По-моему, именно теперь он больше, чем когда-либо, занят проблемами живописи, — возразил поэт Беллинчолли. — Не далее как вчера он с присущим ему огромным пылом рассуждал при мне о десяти священных заповедях, каковые должен соблюдать глаз художника, и перечислил оные: свет и тень, контур и цвет, фи-

гура и фон, удаленность и близость, движение и покой. А потом с самой серьезной миной добавил, что живопись превышает врачебного искусства, ибо способна пробудить давно усопших, а тех, кто еще жив, — отнять у смерти. Человек, потерявший веру в свое искусство, этак говорить не станет.

— Он увлекся мечтаниями и небылицами, — сказал капитан ландскнехтов да Кортте, ненадолго отведя взор от коней во дворе. — Едва ли мне доведется увидеть наяву, а не на бумаге его переносные мосты для рек с высокими и низкими берегами. Он берется за величайшее по важности, но ничего не доводит до конца.

— То, что вы, государь, благоволили назвать затишьем, — обратился к герцогу казначей Ландриано, — происходит, быть может, от боязни наделать ошибок. И боязнь эта год от года растет, по мере того как он накапливает знания и оттачивает свое мастерство. Лучше б ему забыть малую толику своего искусства и знания, чтобы вновь создавать прекрасные произведения.

— Возможно, — с постной миной провозгласил настоятель. — Но прежде ему бы стоило подумать о том, что в трапезной положено вкушать пищу, а не принимать казнь за грехи. Сил моих больше нет смотреть на эти леса, и шаткие подмости, и на стену за ними, едва тронутую кистью, а уж про неистребимый запах штукатурки, льняного масла, лака да красок и вовсе говорить нечего. Мало того, он раз по шесть на дню

жжет сырые поленья, так что густой дым ест нам глаза, и все затем, чтобы, как он объясняет, узнать, каким цвет этого дыма видится глазу на том или ином расстоянии, — ну при чем тут «Тайная вечеря», скажите на милость?!

— Итак, — произнес герцог, — мы выслушали три или четыре суждения по поводу застоя в работе мессира Леонардо, и справедливости ради пора теперь предоставить слово ему самому. Он находится в моем доме. Однако ж советую вам, досточтимый отче, говорить с ним поласковой, ибо принуждения он не терпит.

И Лудовико велел секретарю призвать сюда мессира Леонардо.

Секретарь отыскал художника в уголке старого двора: сидя на корточках под дождем с непокрытой головой, тот примостил на коленях тетрадь, в которой запечатлел движения великана варварийца и пометил размеры его вытянутой задней ноги. Услышав, о чем идет речь, и узнав, что у герцога гость, настоятель монастыря Санта-Мария-делле-Грации, он захлопнул тетрадь и молча, погруженный в раздумья, пересек следом за секретарем двор и поднялся по лестнице. У дверей зала он остановился и несколькими штрихами дополнил рисунок в тетради. Затем вошел, но мыслями был еще так далеко, что, не оказавши должного уважения герцогу и настоятелю, хотел было прежде поздороваться с Фенхелем, а иных присутствующих поначалу вовсе не заметил.

— Вы, мессир Леонардо, причина весьма приятного визита, коим досточтимый отец настоятель нежданно удостоил нас в столь ранний час, — сказал герцог, и каждый, кому были ведомы его обычаи, услышал в этих словах укор, адресованный больше настоятелю, нежели мессире Леонардо, потому что Мавр не любил неожиданностей и визит без предупреждения никогда не вызывал у него восторга.

— Невзирая на скверную погоду, которая поистине во вред моему здоровью, — заговорил теперь настоятель Санта-Мария-делле-Грации, — я прибыл сюда, чтобы вы, мессир Леонардо, в присутствии покровителя нашего монастыря, его светлости герцога, дали мне ответ, ибо Святая церковь именно в моем лице предоставила вам возможность показать, на что вы способны, и вы обещали мне с Божией помощью создать произведение, равного коему не сыщешь во всей Ломбардии, и в том, что вы мне это обещали, поручатся не два, не три, а сотня свидетелей. И вот прошли месяцы, а картины нет как нет, вы до сих пор ничего толком не сделали.

— Сударь, мне весьма удивительно слышать ваши упреки, — ответил мессир Леонардо, — ибо я работаю над этой «Тайною вечерей» с таким рвением, что забываю есть и спать.

— И вы смеете говорить это мне! — вскричал настоятель, побагровев от гнева. — Трижды в день я прихожу в трапезную и если вообще застаю вас

там, то вы просто стоите, вперившись в пространство. Значит, по-вашему, это работа! Я что же, совсем дурак и меня можно водить за нос?!

— Я держу роспись в голове, — твердо продолжал мессир Леонардо, — и, непрестанно работая над нею, уже настолько продвинулся, что мог бы в скором времени ублаготворить вас и показать потомкам, на что я способен... но я еще не нашел одну вещь, то бишь голову одного из апостолов, и...

— Опять он про апостолов! — яростно перебил настоятель. — «Распятие», что напротив, на южной стене, тоже с апостолами и давным-давно закончено, хотя Монторфано начал его меньше чем год назад.

Едва лишь прозвучало имя Монторфано, чьи работы, как судили миланские художники, принесли городу не много славы, лира Фенхеля откликнулась режущими слух диссонансами, а статский советник ди Трейо тотчас шагнул вперед и с отменной учтивостью, но несколько снисходительным тоном сказал, что он, конечно, никоим образом не хочет обидеть отца настоятеля, однако ж этаких Монторфано на каждом углу десятков найдется.

— Он все стены подряд размалевывает, тем и живет, — пожал плечами, заметил поэт Беллинчолли. — Мальчишки, что растирают ему краски, со смеху покатываются над этим «Распятием»!

— А я вот думаю, работа весьма изрядная, — сказал настоятель, который, составивши себе

мнение, упорно за него держался. — И во всяком случае, она завершена. Особенно похвально у этого Монторфано умение сделать поверхность росписи рельефной, как бы отделить ее от фона, и здесь он тоже в этом преуспел.

— С одной оговоркой: вместо Спасителя он изобразил на кресте мешок с орехами, — вставил Беллинчоли.

— А вы что скажете, мессир Леонардо? Каково ваше мнение о «Распятии»? — спросила герцогская возлюбленная, которой очень хотелось привести знатока столь многих искусств в замешательство. Ведь он лишь с большой неохотой позволял себе судить о работах других художников, тем паче о таких, где не мог отыскать ничего хорошего. Как она и ожидала, мессир Леонардо попытался увильнуть от ответа на этот вопрос, особенно неуместный в присутствии настоятеля.

— Вы сами, мадонна, уж верно, разбираетесь в этом лучше меня, — произнес он с обезоруживающей улыбкой.

— Ну нет! На попятный двор идти не дозволено. Мы желаем услышать ваше мнение! — оживленно воскликнул Мавр, стгорая от любопытства.

— Часто, — заговорил мессир Леонардо после минутного раздумья, — часто я думаю о том, как от поколения к поколению живопись все больше приходит в упадок, если художники берут за образец лишь уже созданные картины, вместо того чтобы учиться у природы и усвоенное...

— Ближе к делу! — перебил настоятель. — Мы хотим услышать ваш суд об этом «Распятии».

— Весьма богоугодное произведение, — сказал мессир Леонардо, тщательно взвешивая каждое слово. — Глядя на него, я чувствую все муки истерзанного Спасителя...

Фенхелева лира грянула веселыми звуками, которые можно было истолковать как задорный смешок.

— ...Столь правдиво они изображены, — продолжал мессир Леонардо. — Еще могу добавить касательно Джованни Монторфано, что он умеет артистически разделать зайца либо фазана и уже в одном этом обнаруживается рука мастера.

Лира так и захлебнулась скачущей струнной дробью, а в приглушенный смех придворного общества вторгся сердитый голос настоятеля:

— Все, все знают, мессир Леонардо, языка злее вашего нет в целом Милане, а кто заводил с вами дела, непременно оставался в убытке и неприятности. Добрые братья Сан-Донатто который год об этом твердят. Жаль, я их не послушал.

— Вы говорите, — невозмутимо произнес мессир Леонардо, — о том «Поклонении пастухов», что я начал писать по заказу монахов Сан-Донатто и не завершил по причине содействия, каковое оказал мне в этой работе Великолепный?*

* Имеется в виду Лоренцо Медичи по прозвищу Великолепный (1449–1492) — флорентийский правитель, при котором Флоренция стала поистине центром культуры Возрождения.

— Не знаю, о «Поклонении» ли речь и при чем тут был Великолепный, — объявил настоятель. — Знаю только, что монахи понесли из-за вас урон. Но из собственных ваших слов как будто бы вытекает, что эту работу вам оплатили дважды — и монахи, и Великолепный — и что как те, так и другой в итоге остались с носом.

— А мне вот кажется, что в словах его кроется некая история, — заметил герцог, — или я плохо знаю моего Леонардо. Верно, мессир Леонардо? Тогда расскажите ее нам.

— Да, в самом деле, — подтвердил мессир Леонардо, — хотя и не очень веселая, но коли вы, государь, все же хотите ее услышать, мне придется начать с того, о чем изволил напомнить досточтимый отец настоятель: четырнадцать лет назад, в день святой Магдалины, я заключил во Флоренции с монахами Сан-Дonato договор, в коем обещал им...

— Обещать вы всегда были горазды, — вставил настоятель.

— ...написать для главного алтаря их церкви «Поклонение пастухов» и «Поклонение волхвов», и в тот же день, получивши от монахов в качестве задатка ведро красного вина, принялся за работу. Но в скором времени мне уяснилось, что изображение пастухов и волхвов, одному из которых я задумал придать черты Великолепного, не требует большого труда и глубоких размышлений; куда более важной задачей я полагал иное — показать на картине, как весь мир при-